



Игорь Можицкий

Жил в нашем лагере профессор

или

Весь этот театр

Игорь Можицкий. Писатель, драматург. Родился и живет в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский Технологический институт. Член Союза писателей и Гильдии драматургов Санкт-Петербурга. Печатался в журналах «Нева», «Зинзивер», «Артикль» (Израиль), «Время и место» (Нью-Йорк). Автор трех изданных книг. Пьесы ставились в Москве, Санкт-Петербурге, Минске, Новосибирске, Петрозаводске и других городах. Спектакль «Прощай, Россия» Александринского театра стал лауреатом международного и российских театральных конкурсов. Финалист VIII Международного биеннале современной драматургии, дипломант Международного литературного конкурса имени Н. В. Гоголя, победитель Всероссийского конкурса 2018 года на лучшую современную комедию.

Не помню точно, когда у меня появилось странное желание — подбирать слова с одинаковыми окончаниями, но в пять лет я однажды изрек: «Наш детский сад — настоящий зоосад». И еще: «На меня вы поглядите и чего-нибудь купите», полагая, что за удовольствие общения со мной следует расплачиваться. Например, конфетой.

Мои потуги говорить в рифму сместили взрослых, а мой сосед по коммунальной квартире, Александр Иванович, однажды сказал: «Ты должен сочинять стихи. Подумай об этом на досуге».

Александр Иванович мне очень нравился. Высокий, красивый, похожий на артиста, он и был артистом, но в душе. Работал Александр Иванович бухгалтером в хореографическом училище (должность не самая творческая), но при этом неплохо пел — у него был небольшой, но красивый лирический тенор. Кроме того, он был спортсменом, играл до войны в хоккейной команде мастеров за Ленинград, и ко всему обладал титулом мастера спорта по шахматам. Меня он научил играть в шахматы, когда я был во втором классе, и с тех пор всю жизнь я мечтал у него выиграть, тем более что он всегда давал мне в фору ладью. План у меня был такой: быстро разменять фигуры и, обладая лишней ладьей, разгромить Александра Ивановича в эндшпиле.

Но не тут-то было. К эндшпилю я всегда приходил уже без лишней ладьи и получал заслуженный мат от равнодушного к своему успеху Александра Ивановича. Никакого шахматного будущего для меня он не видел, зато почему-то ждал, что однажды я принесу ему собственноручно написанное стихотворение.

И дождался. После окончания пятого класса мама, которая занимала тогда какую-то скромную должность в ленинградском отделении Худфонда, отправила меня на все лето в ведомственный пионерский лагерь, располагавшийся в живописном месте на правом берегу полноводной реки Волхов, рядом с селом Старая Ладога, в нескольких деревянных постройках. В одной из них разместились девочки, в другой мальчики, а еще там были столовая, клуб и административный корпус.

Как только мы приехали, нам рассказали, что в XIX веке Старая Ладога была излюбленным местом русских художников, и сюда приезжали Кипренский, Айвазовский, Рерих, Кустодиев. Оглядевшись, мы согласились, что приезжать сюда художникам стоило: побережье Волхова было неправдоподобно красиво. Нашим любимым местом для прогулок стала пятикилометровая березовая аллея близ лагеря. Неизвестно, была она нерукотворным чудом природы, или какие-то безвестные люди за много лет до рождения еще наших родителей посадили березовые деревца, которые, превратившись в высокие раскидистые деревья, стали восхищать и детей, и взрослых.

Впрочем, одним восхищением дело не ограничивалось. Мои товарищи по лагерю, оказавшись вдали от бдительных взоров воспитателей и пионервожатых, обожали раскачиваться на вершинах крепких старых деревьев и прыгать с ветки на ветку, подражая главному киногерою того времени, Тарзану, в исполнении пятикратного олимпийского чемпиона Джонни Вайсмюллера. Лично я подражать Тарзану не рвался, но по деревьям лазил — иначе мог получить репутацию труса и презрение всего лагеря...

Однако времени для подражанию Тарзану у нас оставалось мало. Быт в лагере был военизирован — подъем, зарядка, уборка территории, построение на линейку, где объявлялся распорядок дня, затем завтрак и выполнение этого самого распорядка. Начинался он со строевой подготовки, обязательной для мальчиков и девочек. Мы разбивались на отряды и выходили на импровизированный плац, где под строевую песню ежедневно маршировали около часа. Потом проходили спортивные мероприятия — плавание в реке Волхов, соревнования по легкой атлетике, подготовка к военной игре и тому подобное.

Раз в смену нас возили на экскурсию в знаменитую Староладожскую крепость. Добраться до нее было непросто. Мы долго шли пешком по бе-

регу Волхова, где в определенном месте нас ожидала большая лодка, за веслами которой всегда сидела очень пожилая тетя (хотя мне казалось, что на ее месте лучше бы смотрелся дядя, — но, видимо, своего дяди у этой тети не было). За небольшую мзду тетя-лодочница перевозила нас партиями человек по двадцать на левый берег Волхова, и там нашим глазам открывалась старая крепость, точнее, то, что от нее осталось. Когда-то это было грозное сооружение, а сейчас его стены здорово осыпались, но все равно оно оставалась похожим на древние крепости из учебника истории. Появлявшийся неизвестно откуда экскурсовод рассказывал нам, что на этом месте очень давно, аж в восьмьсот шестьдесят втором году, Рюрик построил деревянную крепость, где и разместился вместе со своей дружиной, после чего Ладога на короткое время стала столицей Руси. Через два года Рюрик перенес княжескую резиденцию в «городок на Волхове» — будущий Новгород. А в годы правления Вещего Олега, на рубеже IX и X веков, на месте деревянных укреплений была возведена каменная крепость, подобная западноевропейским оборонительным сооружениям того времени.

Показывая на сопки недалеко от крепости, экскурсовод говорил, что по преданию в одной из них и захоронен Вещий Олег, но в какой, точно установить невозможно. А еще экскурсовод рассказывал, что крепость многократно перестраивалась, и то, что дошло до нас в развалинах, относится к рубежу XV и XVI веков. На прощание экскурсовод всегда водил нас на место археологических раскопок и дарил каждому по кусочку дерева девятого века. Я слышал, что очень старые деревянные гнилушки светятся в темноте, и с радостью хватал предлагавшийся кусочек дерева, и всегда меня ожидало разочарование — подаренная гнилушка в темноте не светила.

В соответствии с железным лагерным расписанием, после обеда следовал «мертвый час», затем — полдник, а далее — культурные мероприятия: лекция (чаще всего о международном положении), викторина или концерт самодеятельности, изредка — концерт артистов областной филармонии. После ужина — кино или танцы. Танцевали не какие-нибудь там танго или фокстрот, а вполне целомудренные — русский бальный, чардаш и краковяк, а также танцы со странными названиями — пазефир и падепатенер. (Последний, кстати, во времена борьбы с космополитизмом переименовали в «танец конькобежцев»). Во время такого «высоконравственного» танца партнеры не имели права приблизиться друг к другу, и только под конец вечера, когда звучал вальс, партнер мог положить руку партнерше на талию. Те, кто вальс танцевать не умели (и среди них я), лишь завистливо смотрели на мальчиков, танцующих с девочками...

Лагерь наш принадлежал обкому Союза работников искусств, сокращенно — РАБИС. Отдыхали там, в основном, дети технических работников различных учреждений культуры, но были среди нас и ребята, носившие фамилии, известные в городе, а то и в стране. Например, сын композитора Дзержинского — Ванечка Дзержинский; сын артиста театра кукол Сударушкина — Витя Сударушкин, будущий главный режиссер Ленинградского государственного Большого театра кукол. Были в лагере дети и других знаменитых актеров, музыкантов и художников.

Как-то я разговорился с одним мальчиком и спросил:

— А кто у нас в отряде дети известных актеров?

Мальчик этот был далек от искусства — увлекался авиамоделизмом, собирался стать авиаконструктором, — но ответил сразу:

— Ты знаешь певицу Ольгу Нестерову?

Разумеется, я знал Ольгу Нестерову — почти каждый день слышал по радио в ее исполнении песню, которая начиналась словами: «Лучше нету того цвета, когда яблоня цветет...». Песня эта меня достала — мало того, что надоедливая, так мне еще слышалось не «того цвета», а «того света», а это противоречило моим атеистическим взглядам. Но все же Ольга Нестерова была знаменитостью, и я посмотрел на своего собеседника с уважением. Но, не желая ему уступать, вдруг неожиданно для самого себя спросил:

— А ты знаешь певицу Зою Рождественскую? (Была такая радиопевица, не менее популярная, чем Ольга Нестерова).

И, получив утвердительный ответ, выпалил:

— Так вот, я — ее сын.

Мне тут же стало стыдно за свое вранье, но признаваться в нем я не захотел, и в дальнейшем избегал этого мальчика.

Вскоре я познакомился с другим актерским ребенком — девочкой дивной красоты по имени Марьяна. (Правда, о том, что ее родители актеры, я узнал лишь спустя много лет.) Стройная, с синими, чуть раскосыми глазами, Марьяна обещала со временем стать похожей на тех женщин, которые в девятнадцатом веке, по воспоминаниям современников (и портреты это подтверждают), сводили с ума мужское население Парижа. А в пионерском лагере Марьяна свела с ума меня. И не только. В нее были влюблены все мальчишки нашего отряда.

В суровые времена раздельного обучения никто из нас не посмел подойти к ней и сказать: «Марьяна, давай дружить», или что-нибудь в этом роде. Однако каждый из нас в ее присутствии старался выпендриться, как мог. Один мальчик выполнял на турнике очень трудное упражнение — «подъем разгибом», которое во всем лагере было под силу только ему, третьеразряднику по гимнастике. Другой подкидывал футбольный мяч

головой несчетное количество раз. Третий репетировал вместе с ней отрывок из патриотической пьесы Сергея Михалкова «Я хочу домой». Я же только смотрел на нее, мечтая приблизиться на расстояние хотя бы метра.

За все время пребывания в лагере, а это две смены по сорок дней, случай «приблизиться» выпадал мне всего три раза, поскольку мальчики и девочки находились в разных отрядах.

Первый раз это произошло во время военной игры, которая была главным событием в пионерском лагере. Меня назначили командиром отделения, а Марьяна (о, счастье!) оказалась одним из моих солдат. Я сразу сообразил, что делать: разослал своих солдат, кого в дозор, кого в разведку, а сам вместе с Марьяной и ее подругой засел в укрытии, ожидая боестолкновения с противником, которое должно было начаться по сигналу трубы.

В укрытии, которое я называл засадой, мы просидели около часа. И все это время Марьяна и ее подруга тихонько говорили о чем-то своем, не обращая на меня внимания. Я не обиделся. Чего обижаться — я ведь не предложил тему для общего разговора, да и не мог ее предложить, поскольку у меня ее не было, а в голове крутилась только одна мысль: «Как это здорово, что я могу видеть Марьяну так близко и слышать ее неповторимый низкий голос. А то, что при этом не могу разобрать ни одного слова, неважно. Я и так знаю, что любое сказанное ею слово прекрасно».

Потом заиграла труба, мы выскочили из укрытия, и началось. У всех участников игры были пришиты к рубашке, платью или курточке бумажные погоны — у нас синие, а у противника красные, и надо было такие погоны с плеч противника сорвать. По окончании игры вожатые обязаны были подсчитать число сорванных погон, чтобы на вечернем построении начальник лагеря смог объявить, кто победил — красные или синие. Как только я вышел из укрытия, незнакомый мальчик из стана противника кинулся на меня и сорвал оба моих погона. Я тоже сорвал с него погоны, но моей участи это не меняло — по правилам игры и я, и мой противник попали в число убитых. Придя в себя, я увидел Марьяну тоже с сорванными погонами, громко доказывающую вожатому, что погоны с нее содрали не по правилам. «Однако характер у тебя не простой», — подумал я, и тут же стал мысленно оправдывать ее, хотя точно знал: причины возмущаться у нее не было — игра есть игра.

Другой случай, связанный с Марьяной, мог показаться пустяком любому, но только не мне. Однажды мы с товарищем затеяли играть вдвоем в футбол. Он встал в ворота, а я приготовился ударить по мячу. Как раз в этот момент мимо проходили Марьяна с подругой, которая высокомерно взглянула на нас и хотела идти дальше, но Марьяна остановила ее. Мол, давай посмотрим, как он (то есть я) ударит по мячу, покажет свою удаль.

Ну, я и показал — изо всех сил ударил по мячу правым носком ботинка (как у нас в таких случаях презрительно говорили — «пыром»), после чего мяч, естественно, полетел в сторону. Какой позор!

— Как же я ударил, — в отчаянии закричал я.

Мой товарищ кинул мне мяч обратно, и я приготовился ударить по нему снова, демонстрируя всем своим видом, что теперь-то уже не промахнусь, но было поздно. Марьяна засмеялась, и они с подружкой ушли. Видимо, как всякая женщина, она любила, чтобы каждый, кто берется за дело, неважно какое, делал его хорошо. И, вспоминая тот эпизод, я до сих пор испытываю досаду, что так бездарно ударил тогда по мячу. Может, если бы попал, моя жизнь сложились бы иначе. Но, увы, я промазал.

Третий случай был еще менее значителен, чем первые два. С тем же моим товарищем мы прочитали в журнале «Клуб и художественная самодеятельность» пьесу про двух мальчиков, которые без родителей пытались сварить себе кашу. Пьеса была такой смешной, что мы, хохоча, перечитывали ее вслух. За этим занятием нас застала вожатая.

— Покажите-ка, над чем смеетесь, — потребовала она и, забрав у нас журнал, с очень серьезным лицом стала читать про себя пьесу. Мы посчитали, что у нашей вожатой плохо с чувством юмора, как у большинства взрослых, но она, прочитав пьесу, и при этом ни разу не улыбнувшись, изрекла:

— Смешно!

Подумала и добавила

— А вы не хотите, чтобы и другим стало смешно?

— Как это? — не поняли мы.

— Очень просто. Разыграйте эту пьесу в клубе, а мы на вас посмотрим.

— Да мы не артисты, только в общем хоре пели, и все, — стали отказываться мы, но вожатая была непреклонна.

— Думаєте, Комиссаржевская или Черкасов в вашем возрасте знали, что будут великими артистами? Ничего они не знали. И вы про себя ничего не знаете. А может, сцена — ваше будущее. Может, в каждом из вас Игорь Ильинский дремлет. Или Кторов. В общем, так. Вон, за той лужайкой есть закрытое место. Там и порепетируем, вдали от всех. Пошли.

Она решительно направилась к указанному ею месту, и мы поплелись за нею. А что оставалось делать? Не отказываться же от перспективы стать Черкасовым или Кторовым. Стать Ильинским никто из нас не предполагал. Уж больно он был смешной, а мы себя смешными не считали.

Наша вожатая была студенткой Театрального института. После каждой неудачно поданной кем-то из нас реплики она, как Станиславский, восклицала: «Не верю», и показывала, как следует эту реплику произносить.

Спустя три репетиции она решила показать нас публике, и на утреннем построении было объявлено, что после полдника в клубе будет показан спектакль. Явка обязательна.

В назначенное время клуб был заполнен, и мы с товарищем вышли на сцену. Все прошло, вроде, неплохо — текст мы ни разу не перепутали, но почему-то в самых смешных, на наш взгляд, местах никто не смеялся. Лишь когда я, изображая, что пробую кашу на вкус прямо из кастрюли без ложки, нечаянно пролил на сцену воду, зал развеселился. Я удивился и уже нарочно, изображая то же самое, снова пролил воду из кастрюли на сцену. И снова услышал смех. Над кем смеялась публика — над моим персонажем или мной, задумываться я не стал, и через какое-то время повторил свой фокус в третий раз. И снова публика благодарно рассмеялась. Воистину: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...».

Когда спектакль закончился, ко мне подошла Марьяна и попросила:

— Покажи, что у вас в кастрюле?

— Ничего особенного — вода и опилки.

— Теперь понятно, почему ты лил воду мимо рта. Боялся опилок наглотаться, — засмеялась она и ушла.

А я посмотрел ей вслед и подумал самонадеянно: «Никто из зрителей не спросил про опилки в кастрюле, а она спросила, и это неспроста. Наверно, я ей нравлюсь. Даже не наверно, а наверняка».

А раз так, следовало закрепить успех. И я начал действовать. Для начала, когда мы оказывались вместе в столовой или на каких-нибудь коллективных мероприятиях, я стал смотреть на нее по-особенному, гадая при этом, замечает она мои демонические взгляды или нет. Если да, то это наша общая тайна, скрытая от всего мира...

Но тут я ошибался. Однажды, будучи дежурным в столовой, я поставил тарелку с борщом перед Марьяной и, как обычно, посмотрел на нее своим особенным взглядом, и она, как всегда, вроде его и не заметила, но сидевшие рядом с ней две девочки громко засмеялись. А когда я принес второе, смех повторился. Как говорится, две песни на одну тему — это уже цикл, и я смотреть демоническим взглядом на Марьяну перестал, но, похоже, мое особое отношение к ней уже не было тайной в лагере.

Однажды малознакомый мальчик подошел ко мне и спросил:

— Тебе нужен телефон Марьяны?

Я покраснел, но ответил, что нужен. Он продиктовал мне ее телефонный номер, который, как позже выяснилось, оказался правильным. Больше за все пребывание в лагере мы с этим мальчиком не обмолвились ни словом. Откуда у него был номер телефона Марьяны, и зачем он продиктовал его именно мне, так и осталось загадкой. Впрочем, над этой загадкой я, как теперь говорят, «особо не парился», поскольку думал об

одном — как снова добиться хотя бы минимального внимания Марьяны. И вдруг вспомнил слова Александра Ивановича: «Ты должен сочинять стихи».

«А что, отличная идея, — подумал я. — Это не воду из кастрюли лить мимо рта. Никто в лагере стихов не пишет, а я напишу, и буду такой на весь лагерь один».

Но сразу возникла проблема — о чем писать? О любви в двенадцать лет писать глупо, а других тем у меня в голове не было — в общем, тупик. Но как-то я обратил внимание на одного странного мальчика. В нынешние времена его бы назвали «ботаником», но для него подобрали прозвище интересней — «профессор». Кругозор интересов этого десятилетнего вундеркинда простирался от биологии до археологии, и каждый день мы находили у себя в палате то дохлую крысу, то листья какого-то необычного папоротника, а однажды он натаскал в палату камней, которые, по его мнению, сохранились со времен мезозойской эры. Наше терпение тогда и закончилось — все эти камни мы выбросили в окно, а я по этому поводу написал первое в своей жизни стихотворение. Начиналось оно так:

Есть в нашем лагере профессор,
Десятый год пошел ему.
Он и биолог, и зоолог,
Да и геолог ко всему...

А заканчивалось строфой, исполненной сарказма:

А камни в окна полетели
Веселой шумной чередой.
Остался наш профессор с носом
И своей умной головой.

Стихотворение было корявое, со скверной рифмой и полным отсутствием метафор (сейчас десятилетние дети пишут несравненно лучше), но его поместили в стенную газету, и я мгновенно стал знаменитостью. Девочки на меня показывали пальцем и говорили подругам, которые не знали меня в лицо: «Это он написал стихотворение про профессора». И даже Марьяна однажды посмотрела на меня долгим внимательным взглядом, словно увидела в первый раз.

Я был скромным мальчиком, но слава, пусть в пределах одного не очень большого пионерского лагеря, вскружила мне голову. О том, какие насмешки переживал из-за меня несчастный профессор, я даже задумы-

ваться не стал — у меня, как теперь говорят, «поехала крыша», и что мне было до страданий маленького вундеркинда.

Увы, мой успех пришелся на конец последней смены в лагере. За день до отъезда на большой лужайке развели огромный костер, и начался заключительный концерт самодеятельности, на котором Марьяна с подругой выступили с оригинальным номером. Марьяна читала басню «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра...», но руки ее были спрятаны под кофточкой, а за нее жестикулировала подруга, прятавшаяся за ее спиной, которая то глубокомысленно подносила свой палец к носу Марьяны, то философски разводила руками, мол, что поделаешь — дура эта ворона. Получалось смешно. После концерта все, кто был у костра, стали петь хором веселые песни. Тут я заметил, что Марьяна отошла от костра шагов на двадцать и остановилась, словно кого-то ждала. Никто к ней не подошел, и она вернулась к костру, но через некоторое время снова отошла от костра. Я решил, что если она и хочет, чтобы кто-то подошел к ней, то этот кто-то — я, и решительным шагом сдвинулся с места, но тут же остановился. Подойти к Марьяне так духу и не хватило.

Весь вечер и все утро следующего дня я страдал из-за своей нерешительности, а после завтрака нас отвезли на вокзал, и мы поехали домой. В вагоне поезда я продолжал страдать и периодически поглядывал на Марьяну, сидевшую лицом ко мне на скамейке недалеко от выхода. Мысль о том, что мы скоро приедем в Ленинград, разъедемся по разным улицам и больше никогда не увидимся, казалась невыносимой. Дорога от Старой Ладоги до Ленинграда была долгой, больше трех часов, и все это время я раздумывал — подойти к Марьяне или не подойти?

Наконец, на исходе четвертого часа пути, когда за окном замелькали знакомые пригороды, я расхрабрился и подошел к ней.

— Марьяна, мне известен номер твоего телефона, — отважно сказал я и замолчал, с ужасом ожидая, что на этом разговор закончится. Но в ответ она только удивленно посмотрела на меня.

— А можно я тебе позвоню в Ленинграде? — нагло продолжил я.

— Звони, — сказала она и, как мне показалось, благодарно улыбнулась.

Наверно, в том возрасте ей льстило внимание любого мальчика, но я принял ее благодарную улыбку как знак особой приязни ко мне, и радость переполнила меня. Еще бы! Свершилось то, о чем я не смел мечтать, — я получил право звонить ей, и теперь мы не расстанемся вовеки.

До самого дома я повторял про себя ее телефонный номер: А-1-03-45, и запомнил его на всю жизнь. Через день после приезда в Ленинград я позвонил Марьяне и робко предложил встретиться на следующий день в семь часов вечера у Медного всадника. К моему удивлению, она согласилась.

Помню, на следующий день утром мама послала меня за сливами. Продавец фруктового лотка, занятый разговором с какой-то женщиной, долго не обращал на меня внимания, и я напомнил ему о своем существовании.

— Спешешь, что ли? А куда тебе спешить? На свидание? Так рано тебе еще такими делами заниматься, — неодобрительно расфилософствовался он.

Удивительно, но он попал в самую точку. Я сознавал, что рано еще мечтать о свидании, а тем более — готовиться к нему, но весь тот день только о нем и думал. К Медному всаднику я приехал за два часа до назначенного срока и, счастливый, бродил вокруг него, повторяя про себя строчки Пушкина: «...так ждет любовник молодой минуту верного свиданья»...

Но в назначенное время Марьяна не появилась, и я проходил еще два часа по Александровскому саду, надеясь, что она просто перепутала время, пока не понял, что она не придет. Убитый горем, я вернулся домой и сразу позвонил ей. На мой вопрос, почему она не пришла к Медному всаднику, услышал странные слова:

— А мы с мамой поехали совсем в другую сторону.

«Причем здесь мама? Разве я ее с мамой на свидание приглашал»? — удивился я. Потом догадался: видимо, ее мама была неподалеку, а ей не полагалось знать, что дочь уже приглашают на свидание.

На следующий день я решил снова позвать Марьяну к Медному всаднику, но когда услышал ее голос по телефону, неожиданно для себя повесил трубку. Подумал: «А вдруг она снова не придет? Второй раз мне такое не пережить».

В моих ушах зазвучали строчки на этот раз Лермонтова: «Я не унижусь пред тобою...». Мальчик я был начитанный.

Начался новый учебный год, но я все время вспоминал Марьяну и ждал лета, надеясь снова увидеть ее в пионерском лагере. Лета я, наконец, дождался, но Марьяны в родном пионерском лагере не увидел. Грустил о ней весь сезон, зато ближе к его концу меня ожидал сюрприз. Однажды, печально прогуливаясь по своей любимой березовой аллее, я остановился возле самой высокой березы и по старой памяти полез на ее верхотуру. У самой вершины я остановился, чтобы перевести дух, и чуть не полетел вниз, потому что на уровне своих глаз увидел на коре березы вырезанное крупными буквами имя — Марианна. Это был словно привет от нее, переданный тому, кто заберется на эту высоту. Может быть, даже мне, потому что она знала о моей привязанности именно к этой березе — я в ее присутствии однажды получил выговор от вожатого за то, что на нее залез.

Но какова Марьяна? Залезть на такую высоту — поступок для девочек героический, и он еще больше возвысил ее в моих глазах. Перед отъездом из лагеря я снова забрался на эту березу и большим перочинным

ножом вырезал кусок коры с ее именем, а по приезде домой спрятал его в стол как сувенир, подтверждающий, что Марьяна не приснилась мне, а существовала на самом деле.

Я еще три года подряд приезжал летом в тот лагерь и встречал там многих старых друзей. Встретил там и девочек, которые смеялись, когда я во время дежурства в столовой ставил перед Марьяной борщ. Их встретил, а Марьяну, увы, нет...

Но успех стихотворения про профессора не прошел для меня бесследно. Вернувшись домой, я стал регулярно сочинять стихи, но почему-то не про любовь, а «на злобу школьного быта» — в основном, клеймил лодырей и прогульщиков. Например:

Болтушка наш, Понамарев,
Ох, на уроках бестолков.
И если выйдет он к доске,
И коль шпаргалки нет в руке,

Он за урок получит два,
Иль, может, троечку едва.
Ребята, вот живой пример,
Не будьте вы, как этот сэр!

Наша классная руководительница, Прасковья Трофимовна, прочитав этот шедевр в классной стенной газете, усмотрела в слове «сэр» (а я употребил его для рифмы) негативный смысл и с удовлетворением воскликнула:

— Ох, этот Понамарев! Он именно «сэр». А как его называть? Только «сэр», и никак иначе.

Александру Ивановичу мое стихотворение не очень понравилось.

— А ты не подумал, что подмочил репутацию товарищу? — строго спросил он.

— Да нет у него никакой репутации. А сатира есть сатира, — горячо возразил я.

— Действительно, такой жанр в природе имеется. Что ж, дерзай, но помни — товарищей обижать нехорошо, — наставительно сказал Александр Иванович.

И я «дерзал». Вскоре школьная тематика стала казаться мне мелкой. Я прочитал роман Фадеева «Молодая гвардия» и, потрясенный, написал стихотворение, посвященное Олегу Кошевому. В седьмом классе я написал стихотворение, посвященное Сталину, но, видимо, оно получилось недостойным великого вождя, потому что ни строчки из того стихотворения не помню.

Все свои опусы я показывал Александру Ивановичу. Чаще всего в ответ он одобрительно кивал головой и говорил: «А что, рифма есть». Получалось, что наличие какой-никакой рифмы являлось единственным достоинством моих творений, но я в слова Александра Ивановича глубоко не вникал и воспринимал их как одобрение.

Но с восьмого класса я перестал показывать ему свои творения. Нас начали приглашать в соседнюю женскую школу на праздничные вечера, и стихи мои вдруг стали лирическими. Оказалось, я очень влюбчив. Стоило девочке мне улыбнуться, и готово — появлялось посвященное ей стихотворение, после чего, странное дело, интерес к этой девочке пропадал. Я влюблялся в другую девочку и сочинял новое стихотворение, после чего терял интерес и к ней. Так повторялось несколько раз.

В конце концов, я вообще потерял интерес к ровесницам и влюбился в свою учительницу математики — молодую красивую женщину, блестяще знавшую предмет и одевавшуюся лучше всех учительниц школы. Посвященное ей стихотворение начиналось так: «Вы не услышите ни слова, / В душе моей надежды нет. / Но песнь моя пропеть готова / Вам удивительный сонет...»

Когда сонет был закончен, я обнаружил, что мое чувство к учительнице математики тоже исчезло. Это был рок. Стихи разрушали любовь, которая была причиной явления их на свет. Гнев по этому поводу я обрушил на читателя, которого у меня не было:

Вы стихи прочтете, усмехнетесь.
Может быть, покажите жене.
Может быть, до смысла доберетесь
В кабинетной полутишине.
Но одно останется неясным —
Как поэт, чтоб написать для Вас,
То, что для него всего прекрасней,
Выставил бесстыдно напоказ.
Как затем, чтоб быть понятным сразу,
Слишком откровенным с Вами был,
И в себе одной пустяшной фразой
То, что было дорого, убил!

Это стихотворение я с выражением прочитал Александру Ивановичу, ожидая похвал и восхищения, но их не последовало.

— Столько пафоса. Из-за чего? — спросил он.

— В стихотворении все сказано, — гордо ответил я.

— Тогда объясни мне, какой такой вред нанесли тебе твои собственные стихи?

Но я не стал ему ничего объяснять. Не мог же я рассказать, что мои стихи являлись ценой, которую я платил за утрату своих высоких чувств...

Хотя, если по правде, дело было в другом. Ни одно новое чувство не могло сравниться с тем, что я испытывал к Марьяне, на встречу с которой не смел даже надеяться.

Впрочем, встреча все же состоялась. Правда, спустя много лет.

Я заканчивал дипломный проект в Технологическом институте, куда по настоянию мамы поступил сразу после школы. Однажды, возвращаясь домой, в вагоне метро увидел двух оживленно беседовавших женщин — молодую и не очень. В молодой женщине я сразу узнал Марьяну. Случается, красивые, как ангелы, дети превращаются в непримечательных внешне взрослых, но Марьяна стала еще красивее. Те же черты лица, синие, чуть раскосые глаза, только юношеская угловатость исчезла — облик стал более женственным. Впрочем, уверенности, что это Марьяна, у меня не было: все-таки прошло (я быстро сосчитал в уме) десять лет! На очередной остановке женщина, что была постарше, вышла. «Пора! Марьяна может встать и исчезнуть навсегда, как ее спутница», — подумал я и, перебивая шум поезда, чуть наклонившись к ней, спросил:

— Извините, вы Марьяна?

— Да, — казалось, совсем не удивилась она.

— А помните, как вы в Старой Ладогe вырезали ножом на березе свое имя — «Марианна»?

— Помню, — ответила она.

— Так вот. Этот кусок коры с вашим именем до сих пор лежит у меня в столе.

Это было и глупо, и неприлично. Незнакомый человек объявляет девушке, что много лет хранит нечто, напоминающее ему о ней, то есть фактически объяснился ей в любви. Но Марьяна отнеслась к моему заявлению спокойно — не удивилась и не рассердилась, не послала куда подальше, хотя могла бы. Мы стали вспоминать пионерский лагерь, и оказалось, что меня она не помнит. Тогда я напомнил, что во время лагерной военной игры она была моим солдатом, и я, командир отряда, оставил ее при себе вместе с подружкой Аллой Брызгаловой на замаскированном наблюдательном пункте, а остальных своих бойцов отослал на передовую позицию. И все полтора часа в укрытии они с подружкой тихо, чтобы я не слышал, говорили о чем-то очень важном.

— Это я помню, — улыбнулась Марьяна. — Мы тогда рассказывали анекдоты.

Потом мы стали вспоминать тех, кто был вместе с нами в пионерском лагере.

— А вы помните Марика Данишевского? Ну, мальчика, который выполнял на турнике подъем разгибом? — почему-то спросил я.

— Помню, — очень серьезно сказала Марьяна. — Он мне тогда даже нравился.

Это был удар в самое сердце! Значит, ей нравился Марик, а не я, и моя духовная связь с Марьяной на протяжении восьми лет была плодом моего романтического воображения? Впрочем, не удивительно: я ведь не мог выполнить подъем разгибом, а Марк мог.

Мы подъехали к станции «Площадь Восстания» и вместе поднялись вверх на эскалаторе. Марьяне надо было в Дом искусств (ныне Дом актера), и хотя до него было десять минут ходьбы, она заспешила на троллейбус. «Очень деловая», — неодобрительно подумал я, но увязался за ней. В троллейбусе, отвечая на ее вопрос, я сказал, что готовлюсь защищать диплом. Еще мы успели поговорить о только что вышедшем американском фильме «Все о Еве». В нем рассказывалось о коварной девушке по имени Ева, которая вошла в доверие к мега-кинозвезде с тем, чтобы отнять у нее все, что той дорого: любовника, друзей, театральную карьеру и славу. Марьяна с позицией авторов, явно осуждавших эту самую Еву, была не согласна.

— Тут главный вопрос — талантлива эта Ева или нет. И если талантлива, то все ее поступки оправданы, — заявила она.

«Вот это да. Выходит, для карьеры она на многое способна», — удивился я, но тут же прогнал эту мысль. Не для того я столько лет ждал встречи с ней, чтобы усомниться в чистоте ее помыслов по вопросу от меня далекому. Марьяна была прекрасна, намного прекрасней, чем в детстве, и ничто не могло уменьшить восторг от встречи с ней. Правда, встреча эта оказалась очень короткой. Автомобильных пробок в те времена еще не было, и за пару минут троллейбус домчал нас до Дома Искусств. Пришло время прощаться.

— До свидания, — сказала Марьяна и потянула на себя массивную дверь, собираясь исчезнуть навсегда. Но я не хотел с этим мириться.

— А можно вам позвонить? — балдея от собственной смелости, торопливо спросил я.

— Звоните, — не раздумывая, ответила она. — Есть на чем писать?

— Да я помню номер вашего телефона. А-1-03-45. Так?

— Домой мне звонить не надо, — она ничуть не удивилась, что я помню номер ее телефона. — Позвоните на работу послезавтра, часов в двенадцать. Сможете?

— Конечно, — обрадовался я.

— Тогда записывайте номер.

Она быстро продиктовала его и исчезла за дверями Дома искусств. А я пошел домой, где меня ожидал мой школьный товарищ Валя Кудрявцев, который помогал мне чертить дипломный проект.

— Ты откуда такой? — спросил он, взглянув на меня.

— Какой «такой»? — не понял я.

— Да, вроде, не в себе.

— А что, заметно?

— Еще как, — усмехнулся он.

— И правильно. Должно быть заметно, потому что я Марьяну встретил.

— Да ну? — удивился Валя, который был в курсе истории моей многолетней любви на расстоянии.

— Представь себе. И даже стих по этому поводу придумал, — доверительно продолжил я.

— Так быстро?

— Вот послушай.

Я прочитал стихотворение, которое сочинил по дороге от Дома искусств до дома, из которого теперь помню только одну строфу: «Я думал с того далекого дня, / Что никогда не трону прошедшего, / Но ты возвратилась, и снова меня / Друзья принимают за сумасшедшего».

В этой строфе все неправда. Никакого прошедшего я тронуть не мог, потому что трогать было попросту нечего, как не было друзей, принимавших меня за сумасшедшего. В курсе моего движения в ту сторону был один друг — Валька Кудрявцев, который смотрел на меня неодобрительно.

— Не понравилось стихотворение? — спросил я.

— Понравилось. А диплом теперь, очевидно, завалишь? — поинтересовался Валя.

— Не завалю, — ответил я уверенно, и мы принялись за работу.

Через день я позвонил Марьяне и предложил встретиться. Она ответила, что на этой неделе занята, и попросила позвонить во вторник на следующей неделе. Я ответил, что обязательно позвоню, но звонить не стал.

«Чего набиваться. Может, она замуж собирается или уже замужем. Не зря же не разрешает звонить к себе домой», — подумал я.

Через много лет в интернете я нашел фотографию Марьяны с каким-то морячком, относившуюся как раз к тому времени. Марьяна на той фотографии светится от счастья, а моряк суров и насторожен. Мол, только подойди кто-нибудь к Марьяне — сразу в глаз получишь.

А знающие люди объяснили мне, что моряк на фото — знаменитый в будущем писатель Виктор Конецкий. Так что добиваться в то время встречи с Марьяной было и глупо, и небезопасно — Виктор Конецкий умел, как он сам говорил, «разбить хлебало», о чем я, разумеется, не знал. Просто решил не быть навязчивым.

Но, проходя мимо театра имени Ленсовета, где Марьяна работала, я всегда взволнованно рассматривал на стендах ее фотографии. А еще я

побывал на двух спектаклях с ее участием, из которых один, на современную тему, был плохой, а другой, по пьесе Шоу «Пигмалион», хороший — там она играла глупую светскую львицу по имени Клара. Но и в плохом, и в хорошем спектаклях игра Марьяны казалась мне потрясающей. Я испытывал гордость за нее и готов был хвастать перед каждым встречным, что с этой необыкновенной актрисой и замечательной девушкой мы были вместе в одном пионерском лагере.

Вскоре Марьяна исчезла с театральных стендов театра имени Ленсовета, и заодно с экранов ленинградских телевизоров, где она часто появлялась (центрального телевидения тогда еще не придумали). А через некоторое время она объявилась в Москве. Я прочитал в газете «Советская культура», что знаменитая актриса и режиссер Мария Кнебель поставила на сцене театра имени Вахтангова пьесу Островского «Таланты и поклонники», где главную роль, актрисы Негинной, блистательно сыграла Марианна Яблонская. Я искренне обрадовался за Марьяну и стал ждать новых известий о ее победах.

Примерно в это время однажды я зашел в гости к своей знакомой, которая училась в Мухинском училище. У нас был вялотекущий роман, не имевший перспектив. Я не мог понять, нравится она мне или нет, а она твердо знала, что я ей не нравлюсь, и, тем не менее, мы встречались. Я, молодой инженер, был с ее точки зрения субъектом положительным, без вредных привычек и уже неплохо зарабатывал — вполне годился быть ее мужем. А мне льстило, что она, художница, человек творческий, водится со мной, технарем. Правда, рисунки ее были — сплошные орнаменты для текстиля, так как училась она в своем художественном училище на промышленном факультете. Но все равно — это были рисунки, да и она была не уродина.

Однажды, когда я к ней пришел, она попросила меня немного посидеть, а сама сделала несколько штрихов на своем очередном орнаменте, после чего собрала вместе все стоявшие на столе баночки с гуашью и, прижав их к кожаному фартуку, вынесла из комнаты.

«Боже, — подумал я. — Да она же унесла с собой все краски мира».

Конечно, это была метафора, притом шуточная, но она засела у меня в голове, и на следующий день я написал стихотворение — «Художнице»:

В те времена, когда мы были младше,
Для первобытно любопытных глаз
Весь мир покрыт был тонкою гуашью
Сознания, просыпавшегося в нас.
Но краски первых впечатлений гаснут.
Мы привыкаем к этому. Ну что ж.

И в черно-белом мире все неясно,
Хотя и черно-белый мир хорош.
Но девушка надела фартук кожаный,
Решительно склонилась над листом.
И стали краски проступать тревожно,
Друг с другом конкурировать потом.
И я, как в детстве, ничего не знаю.
Как мальчик, удивляться я готов.
Глаза глядят, как будто вспоминают
Все тысячи оттенков и цветов.
О, как все сразу измениться может –
Во всех предметах новизна видна...
О, девушка, как мир меня тревожит,
Когда гляжу из твоего окна.
Но час приходит, длинными руками
Ты краски убираешь со стола.
Я ухожу, и равнодушья камень
Ты просто подтолкнула. Не сняла.
И в постоянном повторенье буден
Все это растворится, как мираж.
Мир черно-белым оставаться будет
Пока лежит в шкафу твоя гуашь.

Я решил показать это стихотворение Александру Ивановичу.

— Пришел проиграть очередную партию в шахматы? — мрачно спросил он, когда я появился у него на пороге.

— Мне кажется, я сегодня у вас выиграю, — заявил я.

— Вот как? Тогда сыграем на интерес, — объявил Александр Иванович, которому обыгрывать меня давно надоело.

— На какой интерес? — не понял я. — На деньги, что ли?

— На деньги — это пошло. На сосиски. За каждую проигранную сегодня партию ты будешь должен мне одну сосиску. Согласен?

— Что мне еще остается?

— Тогда начнем.

После того, как я проиграл ему двадцать партий, он заявил:

— Беги за сосисками.

— Да если честно, я пришел прочитать вам стихотворение, а не в шахматы играть, — стал объяснять я ему.

— Стихотворение? — удивился Александр Иванович. — Что ж, послушаем твоё стихотворение. Но вначале сбегай за сосисками, и запомни на всю жизнь: долг за проигрыш,неважно, в карты или шахматы, — это долг чести.

Я выскочил на улицу и через полчаса вернулся с двадцатью сосисками в бумажном пакете. Он равнодушно взглянул на них и сказал жене, которую звали Елизавета Ивановна:

— Лиля, положи сосиски в холодильник.

— Хорошие ты принес сосиски. Как раз такие он любит, — хитро улыбнулась Елизавета Ивановна и спрятала их в маленький холодильник «Ладоба», стоявший в комнате.

Елизавета Ивановна была девушкой из хорошей семьи, может быть, даже дворянка, и по ее лукавому взгляду я понял, что она одобряет воспитательные действия своего супруга. Мне же эти действия настолько не понравились, что я навсегда потерял интерес к шахматам. А может, мне стало жалко денег, потраченных на сосиски, — мясо к тому времени сильно подорожало.

— А теперь читай свое стихотворение, — милостиво разрешил Александр Иванович.

Я прочитал.

— Хорошее стихотворение, — сказал он добрым голосом. Подумал и добавил: — В меру холодное.

— А как вам строчка: «О, девушка, как мир меня тревожит, когда гляжу из твоего окна»? — попробовал оправдаться я.

— Хорошая строчка, — согласился Александр Иванович. — Но, как я понял, стоит тебе выйти на улицу, и все — девушка забыта. Или я понял неправильно?

— Нет, вы все правильно поняли, — согласился я и подумал, что если бы на месте моей художницы оказалась Марьяна, то мир для меня не остался бы черно-белым за стенами ее квартиры.

Прошло двадцать лет. Я по-прежнему работал инженером, но уму-дринлся написать пьесу, и в Москве нашелся театр, заключивший со мной договор на ее постановку.

Как положено молодому драматургу, я стал выписывать журналы «Театр» и «Современная драматургия», причем добросовестно читал все пьесы, которые там печатались. Хорошие попадались редко, но я все равно их читал, хотел быть в курсе того, что пишут другие.

Однажды я открыл очередной номер «Современной драматургии» и увидел портрет Марьяны в траурной рамке, а рядом — короткий рассказ о ней известного театрального критика Александра Свободина. Оказалось, что Марьяна умерла, когда ей было всего сорок два года, но за отпущенное ей время, помимо работы на сцене, успела написать аж одиннадцать пьес и подготовила целых два сборника рассказов. (Через четыре года после ее смерти эти сборники были напечатаны издательством «Советский писатель»).

За предисловием Свободина в журнале следовала грустная пьеса Марьяны под названием «Плюшева обезьяна в детской кроватке». В пьесе судьба героини, молодой, но уже глотнувшей отравленной театральной пыли актрисы (фамилия которой — Флоренская — перекликается с фамилией Марьяны — Яблонская), зависит от некоего сочинителя. Героиня жертвует любовью и счастьем, чтобы сыграть в его опусе, но сочинитель предает ее в решающий момент. И это не первое разочарование в ее жизни...

Вот что рассказывает героиня пьесы о начале своего творческого пути:

«Два с половиной сезона все шло довольно сносно. А потом на одном из банкетов главный режиссер сказал мне, что не может работать с актрисой, пока не узнает ее как женщину. Я сделала вид, что не поняла. Тогда он вскоре вызвал меня в кабинет и сказал, что нам придется расстаться. Я подала заявление и ушла. Мне показалось, что сопротивляться в этом случае бесполезно — в местном и худсовете сидели только угодные ему люди. Беда моя, наверное, в том, что во мне чего-то недостает — таланта или красоты, или ума — для того, чтобы достичь светлых сторон искусства, минуя тени. Почему-то грязь так и липнет ко мне со всех сторон».

Я был потрясен, прочитав эти строки. Неужели это ее собственный ужасный опыт? И это Марьяне-то не хватало красоты? Да ведь красивей ее никого не было на свете!

Но дальнейшие откровения героини пьесы оказались еще ужасней:

«Для таких, как я, существует только одна возможность — биржа. Между прочим, это вполне добровольная и даже стихийная организация. Мне рассказывали, что несколько раз пробовали уничтожить эту биржу — закрывались все помещения, которые могли бы ей служить, — но не тут-то было! Все выходило только хуже: актеры и режиссеры съезжались со всех концов страны и устраивали свой традиционный рынок.

Так вот, решившись туда пойти, когда биржа существовала последние дни, я стала у какой-то колонны. Через полчаса моего стояния, когда каждый проходящий мимо с чувством полного права разглядывал меня с ног до головы, ко мне подошел плешивый маленький старичок. Он лопотал что-то тихо и быстро-быстро, а я все смотрела на его голубые губы с пузырьками слюны в углах и никак не могла понять, о чем он не говорит. А потом поняла. Он предлагал мне приходить к нему два раза в месяц — за полную ставку "начинающей актрисы с высшим образованием". "И — никакой работы, и никаких безобразий", — все время повторял он. Это "никакой работы и никаких безобразий" почему-то особенно меня воз-

мутило — я ударила его по щеке. Собралась толпа, появилась милиция. Но слюнявый старичок незаметно исчез».

Критик Свободин подтвердил, что в пьесе отразилась подлинная история жизни Марьяны, но при этом в лучших советских традициях продемонстрировал свой оптимизм.

«Пусть не думает читатель, что пьеса эта лишь автобиографична. Что это своеобразная "месть" автора театру. Если угодно, это гимн ему!» — написал он в предисловии к драме.

Свою мысль критик подтвердил цитатой, которую предварил комментарием:

«Может быть, самое сильное место в пьесе — последний телефонный звонок героини, где она обращается к сочинителю после того, как лишилась главной роли:

"Валерий Семенович, да, это опять Флоренская. Валерий Семенович, там в вашей пьесе, во втором акте, этот эпизод... почтальонша приносит письмо... да, да... две фразы... на этот эпизод назначена одна актриса, так вы не могли бы поговорить, чтобы назначили меня с ней в очередь... я понимаю... конечно... здесь может играть любая актриса... Но если можно... если только можно"... (Медленно гаснет свет...)»...

Трактовка критика меня поразила. Это же надо — увидеть гимн театру в крике отчаяния, объяснявшем, почему так рано погас свет для прекрасной Марианны. И я горестно воскликнул про себя: «Ах, Марьяна, Марьяна! Какая жалость, что не я был твоим автором. Уж я бы не предал тебя никогда».

Прошли еще годы, и однажды я подумал, что из всех моих стихов самым важным для меня оказалось глупое стихотворение про профессора, которое я сочинил в пионерском лагере, желая понравиться юной Марьяне. «Остался наш профессор с носом и своей умной головой», — пошутил я в конце.

Но жизнь доказала, что с носом остался не маленький мальчик, которого мы называли профессором, а я. Впрочем, судьба «профессора» мне не известна, так что, может быть, и он тоже.

2018 г.